

Литературная газета  
г. Москва

16 ОКТ 1985

К 70-летию со дня рождения

Георгий РАДОВА

ТЕПЕРЬ уже и не вспомнить, когда, с какой книги или серии деловых, проблемных статей он стал признанным авторитетом нашей очеркистики, принял, не сбавляя энергии и темпа, овечкинскую эстафету советской литературы. Теперь кажется, что он сразу вышел на житейскую целину не с бороной, а с плантажным, глубоко взрезающим землю плугом.

Образ тяжелого плуга взят у самого Георгия Радова; говоря о повести «Прощай, Гульсары!», он заметил, что Айтматов прошел по полю, не парая землю, а подняв ее плугом, и плугом не рядовым, «плантажным, которым пахут под виноградники. Хорошо прошел!»

Главная книга Радова «Председательский корпус» вышла вскоре после его смерти, но складывал ее он сам: отбирал для нее лучшее, выстраивал ее композицию, правил и недавно опубликованные очерки, вчитывался в корреспондентские тетради времен войны. Верил, что жизнь продлится, недуг отступит, но не терял попусту и дня, работал над этим томом избранного. Как художнику ему была знакома тоска по идеалу, жажда поэзии и полноты выражения. «Единственное, что утешает: они остаются в памяти, — писал он о своих героях. — Еще могу вернуться к ним. Не могу не вернуться: мир, в который они ввели меня, воистину неповторим и неисчерпаем, а для меня он единственный. Его еще исследовать, исследовать! Хватит ли времени...»

Но жизнь пресеклась, ушла, среди ночи выскользнула вдруг в открытое, жестоко морозное окно — смерть не посчиталась с планами работ, с громадой нерастратченной энергии и запасом душевных сил.

Он был угловат, случалось, нелюбезен до грубости, придиричиво пытлив. Хрипловатый голос иногда звучал угрожающе резко, ироническая улыбка не сулила противнику легкой схватки. Но все ведь не по пустякам, не амбиции ради, все по делу, в стремлении доискаться правды, в нетерпеливом желании изменить

что-то в нашей жизни. В потребности исследовать.

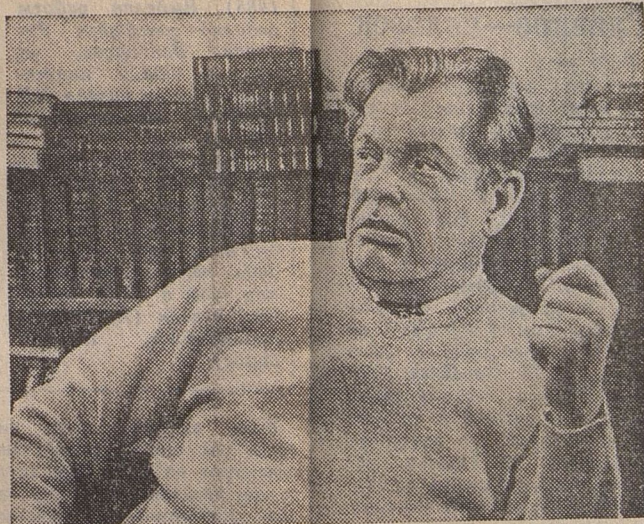
Последний, трудный год весь прошел в лихорадочной смене поездок по стране, упорной работе в больничных палатах и комнатах Дома творчества «Переделкино», в неустанным чтении чужих книг и журнальных публикаций, в жажде духовных открытий, в проснувшемся намерении учинить нелюбимый суд давним своим писаниям. Он был беспощадно насмешлив к возникшему уже тогда поветрию: при первой возможности публиковать старые, неудавшиеся опыты, статьи или очерки однодневного дыхания. Он строго оценивал и свои корреспондентские очерки 1943—1945 годов, взвешивая, есть ли в них страницы, достойные перепечатки спустя три десятилетия.

Уверенный в себе, на первый взгляд, даже самоуверенный, он нелегко, после бессонной ночи в Переделкине, принял решение включить в «Председательский корпус» раздел «Из корреспондентских тетрадей» и признался в этом без смущения. «Много лет не трогал, даже не заглядывал, — сказал он. — Руки не доходили, а теперь вдруг потянуло. Перечитал. Там нашлось и дельное, такое, что надо печатать. Я еще посмотрю построже, но кое-что напечатать, то, что стыкуется со всей моей работой...»

«Председательский корпус» позволил увидеть, как надежно, крепко сстыковано у Радова все, что могло бы показаться пестротой, разбросанностью, неоправданным вторжением в новые для него пласты жизни и искусства, — статьи о Гранине, о Тендрякове, о режиссуре Сергея Герасимова, о сценическом воплощении прозы в театре и о многом другом. Все сстыковано личностью Радова, обостренным чувством нового, мужеством отстаивать справедливость и живую мысль.

Как-то в последнее его лето я торопился в Боткинскую больницу к знакомой палате, но у ее двери подумал было, что ошибся: за дверь шло заседание. Спорили мужчины, нелюбезно, «на басах», а из щелей тянуло, заметно и на

## ПОЭЗИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ



глаз, табачным дымом. Хотел уже повернуть, но услышал хриплый, сердитый голос Радова. Он хмуро показал мне на койку — садись! — будто я провинился, проник не к тяжело больному, а на тайное заседание «деревенщиков». Это к Радову поодиночке просочились режиссер, оператор и редактор телевидения. Недавно, в разгар жатвы, он колесил с ними по России, отснял фильм, вводил их в свой единственный мир.

Но стоило ему слечь, и почти готовая, сложенная вчерне лента стала разваливаться. В кино это просто: две-три купюры, две-три поправки, две-три замены живой фразы стереотипом — и сюжета не узнать. Виновники этой ретуши растерялись и бросились к Радову.

Решение он принял фантастическое: завтра они подгонят к больничному корпусу машину, он сбежит на день из больницы — доругиваться со студийным начальством, работать у монтажного стола.

Так и случилось: схоронясь в студийной машине, переходя из монтажной в просмотровый зал и обратно, он оставался в единственном и, по его признанию, неисчерпаемом мире новой деревни.

Что это было в нем? Тематическая ограниченность? Безразличие ко всему, что не пахота, не жатва, не крестьянский труд? Незнание всего другого, что в совокупности

(не исключая и деревни) составляет всю жизнь народа, а затем и человечества?

Нет, природа верности Радова деревенской теме иная. Его духовный и деловой обзор жизни чрезвычайно широк, разнообразны творческие интересы, темы очерков, статей и памфлетов. Наблюдательность и ум Радова позволили ему писать о многом дельно, остро, с эмоциями, ибо, как он заметил, эмоции необходимы публицисту, как «и ярость, и гнев, и открытое, публичное осуждение», потому что «без эмоций его, мечанина, не одолеешь».

Статьи Радова об искусстве, его памфлеты, направленные против мещанства всех родов и рангов, будоражили, вызвали споры — равнодушных не бывало. Эти работы живы и сегодня, в них отчетливо выражена целостная художественная натура Радова.

Но и в этом, недеревенском мире Радова нет-нет, и откроется воздух деревни, подадут голос ее люди, в поисках опоры художник обратится к земле, к хлебу, к голубеющему над полями небу.

Еще шла война, только что у Орла и Курска выиграна историческая битва, перо Радова-публициста обличает фашизм, а взгляд и сердце художника уже вполновину отданы плодоносящей земле, женщинам-пахарям, которые двинулись за плугом по недавно разминированным полям.

С лета 1944 года это захватит Радова целиком, как судьба и предназначение. На страницах его тетрадей появятся люди, с которыми он пройдет всю жизнь бок о бок, не расстанется и в «Председательском корпусе».

В журналистских записках начиная с августа 1944 года возникает и особое, характерное для позднего Радова соединение деловитости и поэзии. Резкий, неуступчивый, завязанный спорщик и полемист, он с такой поэтичностью открывает нам красоту земли, пишет ее такими сильными, сочными мазками, что по этим ранним очеркам уже тогда, в конце войны, можно было предсказать Радову хорошее литературное будущее.

Радов мечтал о романе. И писал его; главы печатались в «Литературной России», несколько других я читал в рукописи. Он жаждал романа всей тайной, закрытой страстью души и силой надежды. Не знаю, хватило бы у него сил, но времени не хватило.

Хватило на другое, никак не меньшее: в этот тревожный, трагический по исходу год он довершил книгу по сути художественной прозы — «Председательский корпус».

И все же назовем эту книгу очерковой. Хотя бы ради самого Радова, памятуя о его страстной защите публицистики и очерка, его вере в их безграничные возможности. В избранном Радова ярко выражены черты того «классического русского очерка», о котором он писал в статье о «Липягах» Сергея Крутилина.

Книга Радова — история колхозной деревни, рассказанная поэтом. Здесь жизнь как она есть, с горечью ошибок, с драматическим поиском, со всею непредвиденностью судьбы, но и со всей мощью исторического движения. Привязанность к людям, к друзьям-председателям выражена в прозе Радова с той силой действительности, когда не остается места красноречию, риторике, а слышится сквозь годы только беспокойный, сильный, опасющийся недоговорить голос рассказчика.

Александр  
БОРЩАГОВСКИЙ